

Солонович И. Народная монархия. М., 2002, с. 17.

Хайдеггер М. Искусство и пространство // Самосознание Европейской культуры XX века. М., 1991.

Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990.

Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени, восприятия). М., 1994.

Статья поступила в редакцию 17 сентября 2004 г.

УДК 821.161.1-31'42

Т. А. Яценко

**ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА "ЦЕЛЬ"
С ДРУГИМИ КУЛЬТУРНЫМИ КОНЦЕПТАМИ
(на материале романа Ф. М. Достоевского
"Преступление и наказание")**

Культурный концепт "Цель", несомненно, относится к числу мировых концептов (Ю. С. Степанов, В. Г. Проскурин, Н. Д. Арутюнова, Г. Е. Крейдлин, Т. В. Радзиевская и др.). Само понятие "цели", занимающее одно из центральных мест в языковой картине мира, обусловило многочисленность лингвистических исследований, посвященных языковым средствам выражения целевых отношений (А. К. Жолковский, И. Б. Левонтина, Т. В. Радзиевская, М. В. Всеволодова, Г. А. Золотова, В. М. Брицын, Е. В. Рахилина и др.). Отнесенность "цели" к важнейшим константам русской и мировой культуры и "мировоззренческий" характер концепта объясняет необходимость обращения при его исследовании к работам по теологии и философии. В связи с тем, что языковая реализация концепта, а также обширных областей пересечения с другими концептами исследуется на материале текста романа Достоевского, необходимым оказывается обращение к специальным исследованиям по творчеству писателя (см. список литературы).

В ходе исследования культурных концептов отмечена их взаимосвязь, причем во многих случаях она так тесна, что "их интерпретация скоро замыкается кругом рикошетов" [1, с. 326].

В связи с этим возникает необходимость более полного исчисления концептов, изучения их реализации в дискурсах разных типов, проведение их лингвистического анализа — в синхронии и диахронии. Значительно расширяет представление о концептосфере национального языка в целом обращение к концептосфере великих национальных писателей [18].

Результаты моей работы по изучению явления пересечения важнейших культурных концептов представлены в ряде статей [41-44].

Новизна данного исследования заключается в следующем:

анализ ценностной составляющей концепта “Цель” рассматривается на материале целостного текста, представляющего важнейшие константы русской культуры; обосновывается взаимодействие культурных концептов “Цель”, “Счастье” и “Рассудок”; расширяется представление о ценностной составляющей культурного концепта “Цель”.

Теоретические основы исследования: 1. Культурный концепт понимается как языковая реализация ментальной единицы, детерминированной национальной культурой [32]. 2. Необходимо разграничение терминов “понятие” (восходящее к латинскому *conceptus*) и “культурный концепт” (восходящее к латинскому *conceptum* — “зародыш, зернышко” первосмысла) [17, с. 81]. 3. Культурные концепты рассматриваются как ментальные образования с нечеткими границами. 4. Исследование культурных концептов предполагает обращение к фактам истории языка.

Цели исследования: 1. расширить представление о ценностных составляющих культурного концепта “Цель”; 2. установить области пересечения исследуемого концепта с другими концептами культуры на материале текста романа “Преступление и наказание”.

Материалом исследования является роман Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”, текст которого открывает безграничные возможности для лингвокультурологического анализа концепта ‘Цель’.

На особое место романа “Преступление и наказание” в творчестве Ф. М. Достоевского указывают многие исследователи [5, 16, 19, 22, 31, 37, 40] Именно этим романом открывается новый этап духовного и художественного поиска писателя, который продлился до “Братьев Карамазовых”.

Широта понимания культурного концепта, с одной стороны, исключает наличие “сковывающих ограничений”, но, с другой стороны, обуславливает невозможность его полного постижения. “В частности, говоря о концепте, мы точно понимаем, что его-то нам не постичь никогда, поскольку, в отличие от образа, понятия или символа, источающий их концепт обретает свою энергию где-то в четвертом, нам недоступном измерении бытия” [17, с. 85]. Думается, что это “обретение энергии” осуществляется и в области пересечения культурных концептов.

Ближайшим “спутником” “Цели” является, конечно, “Причина”. Известно, что Ю. С. Степанов рассматривает их в пределах одного культурного концепта [33], а Н. Д. Арутюнова, Т. В. Радзиевская — как самостоятельные культурные концепты [1, 27].

Обращение к понятийной составляющей культурного концепта ‘Цель’ показывает, с одной стороны, его отличие от концепта ‘Причина’ (“Причины существуют, цели осуществляются. Причины проецируются в прошлое, цели — в будущее” [1, с. 386]), а с другой стороны, явление контаминации. Эта контаминация может носить как поверхностный характер [29], так и внутренний, [Н. Д. Арутюнова, М. В. Всеволодова, Мельчук, Иорданская и др.], когда речь идет о субъективной причине осознанного намеренного действия.

Н. Д. Арутюнова замечает, что в понятии цели часто объединяются мотивы и собственно цели действия, которые могут совпадать по пропозициональ-

ному содержанию, но неизбежно различаются по модальности. “Мотив входит в контекст желаний и потребностей, цель — в панораму возможных миров” [1, с. 387]. По поводу мотива человеческих поступков и психических состояний отмечается, что он “может быть заключен как в прошлом, так и в будущем” [2, с. 46].

Если говорить о главном герое романа Ф. М. Достоевского, то цель его преступления представлена широчайшей панорамой “возможных миров” (подробней этот вопрос рассмотрен в: [44]), а мотив — самое сокровенное желание, формулируется предельно ясно: *Вот что: я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил...* (с. 433). Мотив проецируется в план будущего и выражается в синтаксической конструкции, типичной для передачи причинно-следственных отношений.

Если сравнить ценностные составляющие “Причины” и “Цели” именно как культурных концептов, то можно сделать предварительный вывод, что причины чаще носят оправдывающий характер (причины поражений занимают людей больше, чем причины побед) или объясняющий отклонение от нормы (аномальность). Причины “оправдывают” следствия. И оба факта (*причина и следствие*) существуют в модальной рамке реальности: *И странно мне: Петр Петрович так об ней пишет, а он ее нам рекомендует, да еще тебе! Стало быть, ему дорога!* (с. 259). Если действие, направленное на достижение цели, тоже назвать “следствием”, что вполне оправдано, то оно может находиться как в модальной рамке реальности, так и в модальной рамке желания, стремления, ориентированных на цель [1, с. 395]: *Подмигнул мне давеча Порфирий аль нет? Верно, вздор; для чего бы подмигивать? Нервы, что ль, хотят мои раздражать али дразнят меня?* (с. 264).

Из этого следует, что агенсом (который может совпадать или не совпадать с субъектом высказывания — как в приведенном примере) цель оценивается положительно. Даже сам факт наличия цели уже представляется рядом исследователей положительно. *Цель* и близкое ей тоже целевое слово *мечта*, выступая как объекты обладания, заключают в себе информацию о положительных характеристиках лица: *У него есть цель (мечта) в жизни (+ и это хорошо)* [7, с. 29]. См. также фон Вригт о неотделимости концептуального анализа, включая концепт цели, от таксономии оценок [45, с. 5-7].

Выявляя характерные черты слова-концепта *цель*, Т. В. Радзиевская отмечает соотношенность его с ценностным аспектом жизни. “Будучи принадлежностью внутреннего мира лица, цель осмысливается как ментальный “капитал”, а наличие цели трактуется как обладание чем-то ценным, положительным” [27, с. 400]. Но при этом, как указывает Т. В. Радзиевская, наличие цели не связывается с идеей нормы. Высказывания о наличии или отсутствии цели относятся к качественной стороне жизни. То есть иметь цель — хорошо, а не иметь ее — плохо. С этим положением можно согласиться, но неизбежно возникает вопрос об аксиологической оценке цели.

Вот здесь можно провести еще одну границу между причиной и целью: собственно причины (не мотивы!) не нуждаются в аксиологической оценке, они не

бывают “хорошими” или “плохими”; они только способствуют или препятствуют совершению факта — следствия. Другое дело — мотивы: их аксиологическая оценка весьма существенна. Мотивы, как известно, связаны с ситуацией целенаправленного действия, где центральным (активным) актантом является агент. В позиции агенса, по выражению Н. Д. Арутюновой, “как бы записан “генетический код” развития синтаксиса действия. Т. к. цель составляет “неотчуждаемую собственность агенса”, то агент и бенефактор (лицо, в пользу которого совершается действие) в этой ситуации неразделимы [1, с. 394]. Причем это положение считается справедливым не только по отношению к естественным действиям, но и по отношению к целенаправленным, в том числе и социальным, действиям. Если важно подчеркнуть, что действие производится не в собственных интересах, а в интересах *другого*, позиция бенефактора маркируется предлогами *для* и *ради*, которые могут использоваться как в бенефактивном (адресат действия), так и в целевом значении. И в том, и в другом случае агенту свойственно отстаивать полезность своей цели.

Таким образом, “Цель” обладает следующими характеристиками: ориентация на будущее время, модальность желания, стремления, соотносимость с ценностным аспектом жизни, осознание ее полезности, неразрывная связь с агенсом.

Представленные особенности “Цели” дают достаточно оснований для вывода о ее неразрывной связи с другим важнейшим концептом русской культуры — “Счастье”. Прежде всего надо помнить, что представления о счастье, о благе, о душе, о жизни и смерти, о цели жизни образуют древнейший пласт мировоззрения человека, а соответствующие понятия покрывают центральную часть аксиологической области личного сознания [8, с. 54].

При всем разнообразии определений счастья и, очевидно, принципиальной невозможности исчерпывающего определения, в семантическом составе *счастья*, по справедливому замечанию С. Г. Воркачева, присутствуют, как минимум, “два семантически неразложимых признака — “семантических примитива”: “желание” и “благо” [8, с. 55]. Но, как известно, “желание” — основная семантическая составляющая “цели”, а осуществление этого желания агенту представляется “благом” (или по крайней мере — полезным), независимо от его объективной оценки со стороны наблюдателя.

Обращаясь к “семантическим антиномиям” счастья, исследователи отмечают, что счастье — это одновременно и оценка человеком своей жизни, и ценность, к которой стремится человек [Додонов, 1978, с. 133]; это эмоция (“переживание полноты бытия”), и интеллектуальная оценка (“положительный баланс жизни”) [Философская энциклопедия, 1960 — 1970, т. 5, с. 175].

Обратим внимание на характерное для определения счастья выражение “то, к чему стремится человек”. Это типично целевая конструкция — и по синтаксической структуре, и по лексике. “Цель”, как и “счастье”, может сопровождаться и эмоциональной, и интеллектуальной оценкой. Но для “цели”, в отличие от “счастья” (эмоциональная оценка), в первую очередь характерна модальная оценка — с преобладанием модальности необходимости [1; 21; 27].

Сближению концептов ‘Цель’ и ‘Счастье’ способствует и тот факт, что представление о счастье в российском менталитете, как отмечается рядом авторов [23; 24; 25] носит компенсационный характер и сопряжено в основном с будущим, а не с настоящим.

Для романа Достоевского эти две константы русской и мировой культуры — “Цель” и “Счастье” — являются основой и сюжета, и идеи романа.

В черновых записях Ф. М. Достоевского, относящихся к третьей редакции романа, есть изложение основной авторской идеи произведения, датированное январем 1866 г. **“ИДЕЯ РОМАНА 1. ПРАВОСЛАВНОЕ ВОЗЗРЕНИЕ, В ЧЕМ ЕСТЬ ПРАВОСЛАВИЕ.** Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием (...) Человек не рождается для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием.

Тут нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и сознание (т. е. непосредственно чувствуемое телом и духом, т. е. жизненным всем процессом) приобретается опытом про и contra, которое нужно перетащить на себе (...) [12].

Известно, что, начиная писать роман летом 1865 г., Достоевский находился в крайне тяжелом психологическом и материальном состоянии, переживая трагическое одиночество после смерти в 1864 г. первой жены и брата Михаила. По наблюдениям ряда исследователей [31; 47], именно в это время особую роль для писателя обретает обращение к святоотеческой культуре (Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов, Иоанн Лествичник, Нил Сорский, оптинские старцы). Причем книга Исаака Сирина “Слова подвижнические” [14] становится непосредственным источником многих идей романа: необходимость страдания для обретения счастья, живительная сила смирения. (Подробнее см.: [10; 31, с. 24-26]).

Пожалуй, первый раз в романе тема “Счастья” и “Цели” появляется в тексте письма матери Раскольниковова. Пульхерия Александровна пишет, что теперь они могут **“даже похвалиться фортуной”** (с. 35). Думаю, показательно, что здесь использовано именно такое слово: *фортуна* как счастливый поворот судьбы (в противовес прежним страданиям, когда “нам даже в церковь нельзя было ходить от презрительных взглядов и шептаний”). Как следует из текста письма, “фортуна” заключается в том, что мать и дочь живут вместе, несправедливое обвинение с дочери снято и появился жених — господин Лужин. Слово *счастье* появляется позже, когда речь заходит о готовящемся браке. Будущая супружеская жизнь, которая чисто традиционно именуется *счастьем*, соотносится для Дуни с выполнением долга (*за долг поставит себе составить счастье мужа*), а для Лужина — с откровенным расчетом (*человек очень расчетливый и, конечно, сам увидит, что его собственное супружеское счастье будет тем вернее, чем Дунечка будет за ним счастливее*). Счастье Дуни и Лужина начисто лишено душевного и эмоционального начала, возможность которого сразу же категорически отрицается: *Конечно, ни с ее, ни с его стороны особенной любви тут нет...* (с. 40). Само отсутствие любви (*нет*) усиливается двойным отрицанием (*ни с ее, ни с его стороны*) и подкрепляется к тому же модальностью полной уверенности (*конечно*).

Настоящее, **сердечное**, счастье обеих женщин — это появившаяся (как им кажется) возможность помочь сыну и брату, в котором сошлись смысл и цель их жизни: *...ты один у нас, у меня и у Дуни, ты наше все, вся надежда, упование наше* (начало письма — с. 34). Эти же слова повторяются и в заключительной части письма (с. 44). Рядом со словом *надежда*, относимом рядом исследователей к целевым словам (И. Б. Левонтина, Ю. Д. Апресян и др.), появляется *упование*, которое отличается от *надежды* семантикой “твердости” и “уверенности”, см. у В. И. Даля: **уповать** “твердо надеяться, ждать с уверенностью, полагаться ничем не смущаясь” [т. IV, с. 502].

Т. о., цель и счастье матери и сестры — **сделать счастливым** “бесценного Родио́на”. Строятся уже и планы для достижения этой цели: наряду с определяющими для этого текста эмоциональными целевыми словами *надежда, мечта, мечтание*, появляются и рациональные *план, проект*. Мать, понимая в душе, что “фортуна” относительна, а жертва дочери ее несомненна, оправдывает цель именно ее **полезностью** для Родиона: Лужин будет **полезен** для карьеры, появится **выгода** для будущего, будущий муж будет **способствовать деньгами** для учебы, сын получит **заслуженное жалование**.

В заключении письма с новой силой звучит тема счастья. Счастье Родиона представляется одновременно и как цель, и как условие счастья его матери и сестры: *Был бы только ты счастлив, и мы будем счастливы*. После строк, выражающих опасение (*не посетило ли и тебя новейшее модное безверие?*) следует напоминание о счастливом времени детства: *Вспомни, милый, как еще в детстве своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы* (с. 44).

Кстати, это напоминание о детстве, отце и молитве — чрезвычайно важно для понимания сна о лошади (письмо получено поздним утром, а сон увиден на закате этого же дня).

Родион Романович, конечно, прочитывает между строк письма, что Дуня готова ради него пожертвовать собой. Здесь как раз тот случай, когда действующее целенаправленно лицо не совмещает, по выражению Н. Д. Арутюновой, функции агенса и бенефактора.

Во внутреннем монологе Раскольниковова, построенном на антитезе, многократно и предельно экспрессивно повторяется, что Дуня не продаст себя и свою душу для своего блага или своего комфорта, а для другого — готова продать: *Дело ясное: для себя, для комфорта своего, даже для спасения себя от смерти, себя не продаст, а для другого вот и продает! (...) Пропадай, жизнь! Только бы эти возлюбленные существа наши были счастливы* (с. 48-49).

Возникает вопрос о средствах достижения цели и путях к счастью. Первый вопрос при лингвистическом подходе находит решение в аспекте модальности. Рядом с модальностью желания, ориентированной на осуществление цели, присутствует и модальность нужды, маркирующая способы, условия и орудия достижения цели [1, с. 395]. “Модальность нужды” связывается со средством достижения цели [там же]. Это значение целенаправленного волеизъявления именуется в филологической и философской литературе по-разному: Х. Зигварт

пишет о "гелеологической необходимости" [13, с. 5], фон Вригт -- об "интенциональности" [6, с. 115-160]. По Х. Зигварту, характер цели соотносится с характером средств ее достижения: "хотение определенной цели делает необходимым хотение определенных средств" [13, с. 244].

Средства достижения цели оказываются связанными с принесением жертвы (в религиозном, мифологическом и обыденном сознании). Для романа Достоевского (как и для всего его творчества в целом) тема жертвы чрезвычайно важна. В "Преступлении и наказании" выделяются три основных типа жертвы как средства достижения цели (и отчасти --- счастья). Первое --- это самопожертвование (Соня, Дуня), когда человек переступает через свой "нравственный закон", ставя целью спасение других людей. *"Для доброй цели", для того, чтобы "счастье его ... устроить"*, Дуня готова переступить через себя: *О, тут мы при случае и нравственное чувство наше придавим: свободу, спокойствие, даже совесть, все, все на толкучий рынок спесем* (с. 48). Образ "переступания", "перешагивания" в целом весьма характерен для романа. Раскольников несколько раз напоминает Соне, что она, как и он, "переступила". О "перешагивании черты" он говорит и сестре: *...и дойдешь до такой черты, что не перешагнешь ее --- несчастна будешь, а перешагнешь --- может, еще несчастнее будешь...* (с. 235).

Второй тип жертвы --- это принесение в жертву людей, которые мешают "людям необыкновенным" достигать своей цели. Третий тип жертвы --- человек, сознательно переступающий закон (и нравственный, и юридический) во имя доказательств справедливости ложной идеи. Такой жертвой идеи становится Раскольников --- вплоть до "Эпилога" романа.

Вопрос о жертвах социальной несправедливости должен быть рассмотрен отдельно.

В теории Раскольникова, изложенной им в статье (фактически первый шаг к преступлению) и написанной за полгода до совершения им убийства, **цель**, к которой ведут мир люди из немногочисленного разряда "необыкновенных", представляется в самом общем виде (ч. II, гл. V). Это нечто "лучшее", во имя чего надо разрушить настоящее, и "обновление", которое соотносится: с научными открытиями ("Кеплеровы и Ньютоновы открытия"), новыми законами ("законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее"), вообще с "новым словом", сказать которое способны только люди из разряда "необыкновенных". Вспомним, что тема "нового слова" является основной в первом же внутреннем монологе героя, которым перебивается авторское повествование: *Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они все больше боятся...* (с. 6).

Утверждение высокой ценности этой весьма туманной цели (которая, впрочем, может быть определена и как прогресс человечества) необходимо для оправдания жертв, которые приносятся во имя ее исполнения (см. справедливое наблюдение Т. В. Радзиевской: чем более абстрактной и отдаленной является цель, тем туманней представление о ней [27]). Но мысль о конкретном убий-

стве появилась позже, примерно за полтора месяца до совершения преступления, когда Раскольников заложил у старухи-процентщицы старые серебряные отцовские часы и золотое колечко, подаренное сестрой. К старухе он почувствовал “непреодолимое отвращение”; по дороге домой зашел в трактир, сел и “крепко задумался”. В этом же трактире он услышал разговор студента с офицером о том, что эту самую старуху “для справедливости” надо убить (ч. I, гл. VI). Цель опять в высшей степени благородная и альтруистическая: справедливость (см.: о концепции “справедливости” у Достоевского в земных и неземных критериях [31, с. 28-31]).

Анализ диалога об убийстве “для справедливости” заслуживает особого внимания: цель *справедливость* представляется как гуманная и полезная, невербализованный бенефактор мыслится как человечество (см. [1, с. 394] — о деконкретизации бенефактора, осмысляемого как высшая цель). Но — обратим внимание! — агент как исполнитель целенаправленного действия отсутствует. Есть только субъект высказываемой мысли: — *Я бы эту проклятую старуху убил и ограбил, и уверяю тебя, что без всякого зазору совести, — с жаром прибавил студент. (...) — Вот ты теперь говоришь и ораторствуешь, а скажи мне: убьешь ты сам старуху или нет? — Разумеется, нет! Я для справедливости... Не во мне тут дело* (с. 71-72).

В этом монологе студента, рассуждавшего в унисон мыслям не только Раскольникова (“в собственной голове его только что зародились ... *такие же точные мысли*” — с. 72), но и многих молодых современников (*это были самые обыкновенные и самые частые (...) молодые разговоры и мысли* — там же) прослеживается важнейшая ценностная составляющая культурного концепта “Цель”, связанная с прагматикой высказывания. Автор высказывания, совпадающий с агентом, **свою** цель всегда (или почти всегда) оценивает как полезную, справедливую, достойную. Причем, как представляется, для русского сознания характерно отнесение цели к неопределенному будущему и придавание ей “вселенского” характера.

Такой характер цели непосредственно связывается с представлением не просто о будущем, а о вселенском будущем (см. философию русского космизма — Муравьев В. Н. — [24, с. 11, 78]).

Проповедующий “справедливость” студент цель ставит очень высокую и абстрактную: “служению всему человечеству и общему делу” (стилистика высказывания вполне соответствует этому настрою), но **средство достижения** этой цели (по выражению Н. Д. Арутюновой, “ее ближайший концептуальный партнер”) предельно конкретно: *Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу...* (с. 71).

“Полезность” цели часто подкрепляется “расчетом”. В дальнейшем изложении предпринимается попытка показать, что Достоевский чисто рассудочный подход к определению цели и к способам ее достижения представляет как губительный для человека. В языке романа в ассоциативное поле концепта “Рассудок”, помимо центрального слова (*рассудок*), входят также *расчет, выгода, точность* и др., но особая роль принадлежит слову *арифметика*. Оно повторяется

многократно как попытка (именно *попытка!*) доказательства неопровержимой правильности рассуждения, в данном случае — правильности цели: “*Одна смерть и сто жизней взамен — да ведь тут арифметика! Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь виш, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна*” (с. 71) Это из монолога студента, встреченного в трактире. “Арифметика” как попытка самооправдания является одним из лейтмотивов и монологов Раскольникова (равно внутренних и произнесенных): *...возможную справедливость положил наблюдать в исполнение, вес и меру, и арифметику...* (с. 285).

Даже будучи уже на грани признания в убийстве, Раскольников по-прежнему ищет спасения в “арифметике, не признавая содеянное “преступлением”: *Я сам хотел добра людям и сделал бы сотни, тысячи добрых дел вместо одной этой глупости (...)* Этою глупостью я хотел только поставить себя в независимое положение, первый шаг сделать, достичь средств, а там все бы загладилось *неизмеримой, сравнительно, пользой...* (с. 543). Повторяется то же основание антитезы: ничтожно малая жертва (*убил гадкую, зловредную вошь, старушонку-процентщицу, никому не нужную, которую убить сорок грехов просят, которая из бедных сок высасывала, и это-то преступление?* (с. 542) одна глупость (*даже не глупость, а просто неловкость*) и тысячи добрых дел.

Ничтожность жертвы выражается, помимо повторяющейся метафоры *вошь* (“вредность”, “ничтожество”), морфолого-слообразовательными средствами выражения крайней степени бесполезности: самую **наибеспольнейшую** вошь (аналитическая форма суперлятива усилена префиксом *наи-* и суффиксом — *ейш* — со значением усиления качества).

Другим “арифметическим” оправданием преступления является тезис: **все** проливают кровь и много крови (*льется и всегда лилась на свете, как дождь*), но за нее “венчают в Капитолии и называют потом благодетелем человечества” (с. 543).

Страстное отвергание Достоевским “арифметики” как средства решения важнейших вопросов жизни человека, к которым относится и целеполагание, несомненно, соотносится с концептосферой русского языка.

Если говорить о “Цели” как о концепте русской культуры (а не целесообразности в научном смысле), то как раз точный расчет (арифметика) и абстрактная логика, которые могут быть соотнесены с “Рассудком” не входят в число его положительных ценностей.

Заслуживает внимания наблюдение С. Сальвестрони о том, что автор наделяет Раскольникова двумя совершенно разными языками: языком сознательного рассуждения, которому удастся привести все к согласию благодаря упрощениям строгой и абстрактной логики, и языком, который через череду сновидений приводит к свету от желаний, идущих в ином направлении” [31, с. 32]. Это совершенно справедливо, но нужно добавить, что это и два разных мировосприятия, трагически совмещенных в одном человеке.

Цельные натуры вообще встречаются нечасто, внутренняя противоречивость, в той или иной степени, присуща большинству людей. Но, по мысли мно-

гих исследователей, внутренние противоречия русских характеров особенно выразительны и загадочны. И в этом смысле герои Достоевского тоже стали выразителями русского духа для не-русского мира [36, с. 384]. (Кстати, Соня не может понять мотива и самого факта преступления Раскольникова именно в силу рассогласованности преступления с его личностью в ее представлении).

Соединение разных идеологий и взаимоисключающих мыслей в одном человеке представляет психологический феномен, который в трудах Ф. А. Степуна назван “оборотничеством”, при этом автор основывает свои мысли не только на наблюдениях над предреволюционной и революционной Россией, но и над героями Достоевского. “В русской душе есть целый ряд свойств, благодаря которым она с легкостью, быть может не свойственной другим европейским народам, становится, сама иной раз того не зная, игрищем темных оборотнических сил” [34, с. 214].

В исследовании Н. Д. Арутюновой нет обращения к тексту романа “Преступление и наказание”, но сделанные ею наблюдения во многих случаях к нему вполне приложимы. Особенно существенным представляется ее наблюдение по поводу конфликта между самой природой (натурой) человека и его идеологией, сосредоточенной в “усиленном сознании”. “Тема адекватности поведения “первооснове” личности была очень важна для Достоевского” [3, с. 866]. Эта тема связывается с вопросом о причине греха.

Принято считать, что Достоевский, как никто другой до него, показал глубокий разрыв между поведением человека и его нравственной сущностью [3, с. 861]. Предельно чеканно эта мысль выражена В. В. Розановым: “Поднимите “Преступление и наказание” к свету вечности, и что вы там увидите, за выбором всех подробностей, в единственно исключительном сюжете: “праведного” “убийцу”, “святую” “проститутку”. Вот суть; остальное — аксессуары” [30, с. 319].

Многие исследователи отмечают, что противоречивость поведения и мышления Раскольникова объясняется неоднозначностью его личности. М. Бахтин, пользуясь музыкальной терминологией, определяет специфику его мышления как “внутриатомный контрапункт”, своего рода психологическую полифонию [4]. Показательна в этом плане и сама фамилия героя *Раскольников*, дающая основание для соотнесенности ее с идейно-художественным замыслом произведения. Ю. Карякин пишет о “говорящей” фамилии в духе классицизма: “Во второй половине XIX века Достоевский не устранился наделять своего героя откровенно выразительной, вызывающе наглядной фамилией, как бы в духе классицизма: Раскольников, расколотый человек”. Б. Н. Любимов соотносит фамилию героя с социально-политической атмосферой России 60-х годов XIX века: “Герой впервые представляет себя: Раскольников, студент. И его фамилия, и социальная принадлежность относятся к значащим элементам, особенно в атмосфере 60-х годов прошлого века. В роман вводится тема молодости, незрелости и протеста, раскола” [22, с. 214]. И. Ф. Рагозина, отталкиваясь от характеристики, данной Раскольникову Разумихиным (*велико-*

душен и добр и холоден и бесчувственен до бесчеловечности), считает возможным говорить, что в Раскольникове уживаются не два человека, а человек и "не человек" [26], далее говорится, что он избывает в себе "нелюдя". Л. В. Карасев "прочитывает" фамилию Раскольников в буквальном смысле — как раскалывающий жертву топором: "Раскольников — тот, кто раскалывает". Он и сам, "со своей смертельной идеей, нависшей над толпой, и в самом деле похож на топор" [15].

Думается, что главный "раскол" в личности героя — это противоречие между его натурой и принятой и исповедуемой губительной идеей.

Натура героя бунтует против "арифметики". В контексте романа эта мысль с удивительной выразительностью реализована в гл. V первой части романа. Проснувшись на Петровском острове после страшного сна о том, как бессмысленно и страшно люди убивают лошадь, он чувствует, как "смутно и темно на душе". Только что пережитая детская боль за истязаемое животное и прерывающийся крик "За что..." переходят в ужас перед тем, что он сам готовится стать убийцей: — *Боже!* — воскликнул он, — *да неужели жэ, неужели жэ в самом деле возьму топор, стану бить по голове, разможжу ей череп... буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться и весь залитый кровью... с топором... Господи, неужели?* (с. 65). Этот ужасный сон приводит героя в состояние катарсиса. Наступает мгновенное прозрение: *Нет я не вытерплю, не вытерплю! Пусть, пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчетах, будь это все, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо как арифметика. Господи! Ведь я все жэ равно не решусь! Я ведь не вытерплю, не вытерплю!..* (с. 65). Он впервые взывает к Господу, он даже молится: "*Господи! — молил он, — покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой... мечты моей!*" (с. 66). Впервые слово *путь* употребляется в особом значении. Заслуживает особого внимания и анализа в этом контексте слово *мечта*, произнесенное после паузы, выдающей невольную остановку перед тем, чтобы назвать свой "замысел" убийством.

Среди ряда значений слова *мечта* (1. что-л. созданное воображением, фантазией; 2. процесс создания в воображении каких-н. образов, представляемых как существующие; 3. мысль о чем-то сильно желаемом; стремление, желание; 4. о чем-то, являющемся пределом желаний; 5. о чем-то нереальном, несуществующем или неосуществимом) [МАС, т. II, с. 263-264] со значением *цели* соотносится четвертое значение.

Заметим, что в пределах первого значения выделяется также устаревшее 'призрак, видение'. Кстати, "Словарь языка Пушкина" отмечает 11 употреблений слова *мечта* в значении 'сновидение, видение, призрак'. В таком же значении отмечено употребление слова *мечтанье*. В словаре В. И. Даля, *мечта* толкуется и в привычном для нас значении 'всякая картина воображения и игра мысли; пустая, несбыточная выдумка' и в устаревшем значении 'призрак, видение, мара' [Даль, т. II, с. 324]. См. наблюдение В. А. Масловой об употреблении М. Цветасвой слова *мечта* в старом значении — "наваждение", "чара" [23, с. 125].

М. Фасмер (со ссылкой на Мельникова) указывает на значение *мечты* в народной речи: “видение, призрак, умопомрачение”. Этимологически *мечта* связывается с латинским *micare* ‘трепетать, шевелиться, мерцать’, см. также *мигать*; в-лужицкий *mikas*, н-лужицкий *mikas*, ‘мигать, прищуривать, мерцать, сверкать’. По Г. А. Ильинскому, “из такого значения одинаково легко могли развиться как ‘призрак, видение, наваждение’, так и ‘фантазия, неопределенная и неясная мысль’” [38, т. II, с. 614];

О разграничении семантики *цели* и *мечты* написано уже немало [21; 27]. Но обращение к контексту целостного произведения позволяет увидеть области перехода от одного значения к другому. В самом начале романа при первой встрече с Раскольниковым, который идет “делать *пробу* своему предприятию”, *мечта* еще не соотносится с целью и представлена иносказательно как мысли “...о царе Горохе”, которые мешают делу. Не случайна эта пауза, переданная многоточием, потому что герою даже во внутреннем монологе страшно выговорить, что им задумано. В последующем авторском тексте, описывающем психологическое состояние героя, можно проследить, как “безобразная мечта”, которая сродни *наваждению* и *злым чарам*, что подкрепляется наличием семных характеристик ‘соблазна’ и ‘безобразия’, становится “предприятием”.

После сна эта *мечта* названа *проклятой*, и то, что эта “проклятая мечта”, является порождением темных сил, подтверждается не только эпитетом, в целом не характерным для этого слова, но и последующим текстом: *Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения* (с. 66).

Но это счастливое состояние Богоприсутствия и облегчения было прервано в тот же вечер — все тем же “вредным расчетом”. Совершенно случайно Раскольников услышал, что завтра, в семь часов вечера, старуха будет одна. Он вошел к себе домой, “как приговоренный к смерти”. Тема духовной смерти Раскольникова и последующего его воскресения связывается с Евангельским текстом о воскрешении Лазаря (см. об этом [10; 15; 31])

Глава заканчивается абзацем, где безумное решение, глубоко противное душе человека, который подчиняется ему, обосновывается с позиции якобы здравого смысла, с активным использованием “рациональной” целевой лексики: *Конечно, если бы даже целые годы приходилось ему ждать удобного случая, то и тогда, имея замысел, нельзя было рассчитывать на более очевидный шаг к успеху этого замысла, как тот, который представляется вдруг сейчас. Во всяком случае, трудно было бы узнать накануне и наверно, с большей точностью и с наименьшим риском, без всяких опасных расспросов и разыскиваний, что завтра, в таком-то часу, такая-то старуха, на которую готовится покушение, будет дома одна-одинехонька* (с. 68).

Как “мыслящий” человек, он надеется, что точный расчет и логика помогут ему осуществить замысел, достичь цели, при этом внутренне “оправдать” ее и избежать внешнего наказания. Тщательно продумав все “мелочи” (т. е. сам способ достижения цели), надеясь, что “рассудок и воля останутся при нем” (с. 77), Раскольников завершает свой анализ “предприятия”: “А между тем, ка-

залось бы, весь анализ в смысле нравственного разрешения вопроса, был уже им покончен..." (с. 76). И вот здесь чрезвычайно важно модальное слово *казалось бы*, выражающее смысловую неуверенность. Но за этим прорвавшимся сомнением следует чеканная фраза: *"Казуистика его выточилась, как бритва, и сам в себе он уже не находил сознательных возражений"* (с. 76-77). Уподобление остроты казуистики остроте бритвы в контексте глав (ч. I, гл. V, VI), где ее особы достижения цели, а именно орудия — в прямом смысле орудия убийства (топор, нож, кнут, лом) представлены в устрашающей наглядности, воспринимается как предупреждение о гибельности иных теорий, отличающихся заманчивой интеллектуальной остротой.

Раскольников приходит к выводу, что *"главнейшая причина"*, почему *"так ясно"* обозначаются следы почти всех преступников", заключается в самом преступнике (в абзаце текста, где развивается эта мысль, слова *"преступление"* и *"преступник"* повторяются 10 раз! — с. 77). И эта причина — *"загмение рассудка и упадок воли"*. Т. о., необходимое условие выполнения задуманного — воля и рассудок.

Что касалось именно его, то он *решил* (тоже очень важное слово), что *"рассудок и воля останутся при нем неотъемлемо, во все время исполнения задуманного, единственно по той причине, что задуманное им — "не преступление"...*(с. 77). В авторский текст включается реплика из внутреннего монолога Раскольникова, где вновь подтверждается определяющая сила *"воли и рассудка"* в решении *"фактических, чисто материальных затруднений дела"*: *Стоит только сохранить над ними всю волю и весь рассудок, и они, в свое время, все будут побеждены, когда придется познакомиться до малейшей тонкости со всеми подробностями дела...* (с. 78). И когда рассудок не может преодолеть непредвиденную случайность (невозможность взять топор на кухне, т. к. Настасья развешивала там белье), *"выручает"* другой случай: нашел топор в дворницкой (подробный анализ символики этого эпизода [15]). *"Не рассудок, так бес!" — подумал он, странно усмехаясь* (с. 79).

Вспомним также, что в романе Достоевского рассудочное оправдание преступления часто стоит рядом с воздействием темных сил. Так, Раскольников в сцене признания Соне в преступлении говорит одновременно и о тщательной продуманности решения (*И неужели ты думаешь, что я как дурак пошел, очертя голову? Я пошел как умник, и это-то меня и сгубило* — с. 437) и о том, что был не властен над собою (*я ведь и сам знаю, что меня черт тащил* — с. 436 — 437; *это ведь дьявол смущал меня* — с. 436).

"Рассудок" отождествляется с бесом, хотя часто считается, что рассудок должен *"побороть беса"*. Но это скорее дело Разума.

Напомним, что в трудах П. Флоренского рассудок определяется как *"враждебный жизни"*, а разум определяется как сама *жизнь* [39].

Обретение счастья героем романа (Эпилог, гл. 2) происходит не в результате сознательного решения, а по движению его души. *"Бесконечность"* счастья, которую он впервые почувствовал, находясь в остроге, неразрывно связана с *"обновлением"*. Это *"обновление человека"* (а не социальных условий)

представляется Достоевским как “полное воскресение в новую жизнь” (с. 573).

Выводы

1. Основополагающей для характеристики концепта “Цель” в романе является аксиологическая оценка самого содержания целеполагания с христианских позиций.

2. Аксиологическая оценка концепта “Цель” обуславливает его соотносительность с концептом “Счастье”. При этом, как выявляется в контексте романа, цель и счастье не должны быть привносимы из вне; человек сам должен пройти путь для понимания и достижения.

3. Ценностная составляющая концепта “Рассудок”, ассоциируемая с расчетом и механической логикой, воспринимается отрицательно, как враждебная естественным законам жизни. Рассудочный подход к определению цели и способов ее достижения представляется как пагубный для человека.

4. Обращение к материалу произведения, включенного в контекст национальной культуры, открывает новые возможности для изучения концептосферы данного языка.

Перспективы исследования состоят в изучении концептосферы романа “Преступление и наказание” как отражения концептосферы русского языкового сознания.

Литература

1. Арутюнова Н. Д. Язык цели // Логический анализ языка. Избранное. 1988-1995. — М.: Индрик, 2003. — С. 386-396.
2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. — М.: Языки русской культуры, 1999. — 896с.
3. Арутюнова Н. Д. Стиль Достоевского в рамке русской картины мира // Язык и мир человека. — С. 846-873.
4. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1972.
5. Ветловская В. Е. Приемы идеологической полемики в “Преступлении и наказании” Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 12. — СПб, 1996.
6. Вригт Г. Х. Интенциональность и телеологическое объяснение // Логико-философские исследования: Избранные труды. М., 1986.
7. Вольф Е. М. Грамматика и семантика прилагательного. — М., 1978.
8. Воркачев С. Г. Счастье как лингвокультурный концепт. — М.: Гнозис, 2004. — 236 с.
9. Всеволодова М. В., Ященко Т. А. Причинно-следственные отношения в современном русском языке. — М., Русский язык, 1988.
10. Достоевский и православие. — М., 1997.
11. Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Собр. соч. в 10 томах, т. 5. — Государственное изд-во художественной литературы. — М., — 1957 г.
12. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т., Л., 1972-1988, Т.7, с. 154-155.

13. Зигварт Х. Логика. Т. 1. Учение о суждении, понятии и выводе. СПб., — 1908.
14. Исаак Сириин. Слова подвижнические. — М., 1911.
15. Карасев Л. В. О символах Достоевского // Вопросы философии. — 1994. — №10. — с. 90-111.
16. Касаткина Т. А. Характерология Достоевского. Типология эмоционально-ценностных ориентаций. — М., Наследие, 1996. — 336 с.
17. Колесов В. В. "Жизнь происходит от слова..." — СПб.: Златоуст, 1999. — 368 с.
18. Космеда Т. А. Концептосфера дневника Т. Г. Шевченко: концепт Украина // Мова. Науково-теоритичний часопис з мовознавства. — №8. Одеса, 2003.
19. Котельников В. А. Православная аскетика и русская литература. — СПб, 1994.
20. Крейдлин Г. Е. К проблеме языкового анализа концептов "Цель" VS "Предназначение" // Логический анализ языка. Избранное. 1988-1995. — М.: Индрик, 2003. — С. 430-438.
21. Левонтина И. Б. Целесообразность без цели // ВЯ, 1996. — №1. — С. 42-57.
22. Любимов Б. Н. Роль Достоевского // Действо и действие, том 1. — М.: Школа "Языки русской культуры", 1997. — С. 137 — 241.
23. Маслова В. А. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой: Учебное пособие. — М.: Флинта: Наука, 2004. — 256с.
24. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика: Учебное пособие / В. А. Маслова. — Мн.: Тетра Системс, 2004. — 256с.
25. Нива Ж. Модели будущего в русской культуре // Звезда, 1995, №10.
26. Рагозина И. Ф. Логика этических рассуждений в романе "Преступление и наказание" и специфика их языкового выражения // Логический анализ языка: Языки этики. — М.: Языки русской культуры, 2000. — с. 313-318.
27. Радзиевская Т. В. Семантика слова *цель* // Логический анализ языка. Избранное. 1988-1995. — М.: Индрик, 2003. — С. 397-402.
28. Радлов Э. Л. Соловьев и Достоевский // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931гг. — М., 1990.
29. Рахилина Е. В. Отношение причины и цели в русском тексте // ВЯ., 1986, №6.
30. Розанов В. В. Из лекции о Достоевском // Опыты: Литературно-философский ежегодник. — М., 1990.
31. Сальвестрони С. Библиейские и святоотеческие источники романов Достоевского / Пер. с итальянского. СПб.: Академический проект, 2001. — 187 с.
32. Слышкин Г. Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. — М.: Academia, 2000.
33. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. — М.: Школа "Языки русской культуры". — М., 1997.

34. Степун Ф. А. Мирозерцание Достоевского // О Достоевском: Творчество. — М., 1991.
35. Степун Ф. А. Мысли о России // Новый мир., 1991. №6.
36. Струве П. Б. Достоевский — путь к Пушкину // Русская идея: В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. — М., 1994.
37. Тихомиров Б. Н. Творческая история романа Ф. Достоевского “Преступление и наказание”. — Л., 1986.
38. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Изд. 2-е. В четырех томах. — М.: Прогресс, 1986.
39. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. — Берлин., 1929.
40. Фудель С. Наследство Достоевского. — М., 1998.
41. Яценко Т. А. Концепт причины в “Толковом словаре живого великорусского языка” В. И. Даля // Т. Концептосфера русского языка: константы и динамика изменений. — С-Петербург, 2003. — С. 283-289.
42. Яценко Т. А. Концептуальное представление “Причины” и “Цели” в “Толковом словаре живого великорусского языка” В. И. Даля // Вісник Черкаського університету. — Серія “Філологічні науки” Черкаси, 2003.
43. Яценко Т. А. Семантика “ради” как область пересечения культурных концептов `радость`, `цель` и `причина` // Язык и культура. — вып.6, т.3. ч.1. — К., 2003. — С. 381-388.
44. Яценко Т. А. О некоторых особенностях реализации культурного концепта “Цель” в романе Ф. М. Достоевского “преступление и наказание” // Культура народов Причерноморья. №3, сентябрь 2004. — С. 86-90.
45. Wrigt G. H. Von. The varieties of goodness. N. Y.; L, 1963, с. 5-7.
46. Evdokimov P. La nouveauté de l'esprit. Abbaye de Bellefontaine. — Paris, 1979.
47. Evdokimov P. Golol et Dostoevskiy. — Paris, 1961.

Статья поступила в редакцию 18 октября 2004 г.

81'23:81'33+159.953.32

Л. Е. Бессонова, А. Ю. Зелинская

**СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
(из опыта проведения экспериментальных методик)**

Постановка проблемы. Лингвистика нового тысячелетия характеризуется переходом от изучения внешней формальной стороны языка к исследованию его глубинной структуры, связей и отношений с другими объектами научного познания. Это объясняется тем неоспоримым фактом, что в рамках современной антропоцентрической парадигмы, которую принято называть суперпарадигмой,